

О ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

© 2011 г. В. Е. Хализев

В статье охарактеризованы особенности языка современной науки о литературе, отмечены его терминологическая расплывчатость и непомерная усложненность.

Specific features of contemporary literary criticism are examined in the paper. Diffuseness of its terminology and its excessive intricacy are characterized.

Ключевые слова: термин, размытость понятий, рабочее определение, слово-фаворит, текст, дискурс.

Key words: term, diffuseness of definitions, “provisional” definition, favourite words, text, discourse.

В составе литературоведения как области гуманитарного знания, где мысль бывает направлена прежде всего на неповторимо-единичное и где важна обращенность ученых к широкой публике, глубоко значимо не только то, *что* познано и сказано, но и то, *как* познанное выражено в речи. К проблемам языка науки о литературе, ныне достигшим предельной остроты, мы и обратимся.

* * *

Язык науки непредставим без понятий, фиксирующих нечто всеобщее, и без соответствующих терминов, обладающих однозначностью и требующих дефиниций. Эта, можно сказать, самоочевидная истина была четко сформулирована Ч. Пирсом. По его словам, “никакое исследование не может быть научным... если оно не обеспечено специальной терминологией”, которая призвана стимулировать сотрудничество ученых, стоящих “на плечах друг друга” и умножающих “неоспоримые результаты общего дела” [1, с. 138]. Ученому, утверждал всемирно известный физик истекшего столетия, следует “устанавливать границы... применимых слов и давать им определения” [2, с. 105]. “Определяйте значение слов, и вы избавите мир от половины заблуждений”. Эти слова Декарта Г.Н. Пospelов поставил эпиграфом к одной из своих теоретико-литературных монографий [3, с. 3].

Да. Без терминологической определенности и системности выполнить стоящие перед ними задачи ученые не в состоянии. А вместе с тем научная мысль (в особенности гуманитарная) не может (и не должна!) ограничиваться терминологизированной лексикой. Научной речи нужно и многое иное. Об этом говорилось неоднократно, порой, правда, с опасным “антитерминологическим креном”. Так, М.М. Бахтин утверждал, что

присущее немецким ученым стремление превращать каждое слово в термин нежелательно, ибо оно “обессиливает” научную речь. В термине, полагал он, “утрачивается многоосмысленность и игра значениями” [4, т. 5, с. 110, 79]¹. Быть может, воинственная “нетерминологичность” Бахтина стимулировалась невозможностью высказываться прямо, открыто. По собственным словам ученого, в книге о Достоевском (так, конечно же, было и в “Рабле”) он “прямо не мог говорить о главном”: “Мне ведь там приходилось все время вилять – туда и обратно. Приходилось себя за руку держать. Только мысль пошла – надо ее останавливать” (см. [7, с. 475]). Антитерминологизм Бахтина является, по-видимому, своего рода актом противостояния доминировавшим в литературоведении мертвенному догматизму и притязаниям на полноту владения истиной, а также опытам административного насаждения терминологии, имевшим место в его время. (Обе приведенные нами реплики ученого, заметим, относятся к 1940-м годам.)

Перекликаются с бахтинскими и более мягкие суждения В.П. Григорьева. Признавая, что в отдельных областях данной науки нужны однозначность и строгость определений, “упорядоченность терминологических систем”, он в то же время говорил о праве ученых на использование “размытых, т.е. строго не определяемых понятий”. И даже утверждал, что подобная “размытость”

¹ Подобные суждения предваряют постмодернистскую концепцию. См., например, главу “Постмодернистская наука как поиск нестабильности” в кн. [5]. В одной из сравнительно недавних работ утверждается, что “необходим переход от терминологической предельности к метафорической открытости и эвристичности” и что будто бы терминологичность чужда русской культуре в отличие от западной (см. [6, с. 94–95]).

смыслов в литературоведческих высказываниях “не только допустима, но и... необходима ввиду сложности объекта” [8, т. 7].

В том же русле – достойная самого пристального внимания концепция языка науки о литературе А.В. Михайлова. В соответствии со своей культурологической, а не “спецификаторской” (в духе формализма) ориентацией и исходя из того, что актуальные для литературоведа семантические единицы рождаются не в кабинетных размышлениях профессионалов, а в недрах культурной жизни (с этим, как говорится, не поспоришь), он утверждал, что их смысл изменчив, неопределен и не может быть “втиснут” в рамки какой-либо терминологической системы. Доминирующий пласт литературоведческого языка, по мысли Михайлова, составляют “ключевые слова культуры”, которыми она (культура, в том числе и наука о литературе) держится, постигая саму себя. Эти ключевые слова “по определению” лишены понятийной однозначности и требуют не претворения в собственно термины, а прежде всего изучения их истории (подобный опыт ученый предпринял в статье “Из истории нигилизма”). “Поднимающиеся из недр самой культуры в ее непосредственности” и “исполненные смысловой динамики лексические единицы”, утверждал он, для науки о литературе «предпочтительнее, нежели “термины”» [9, с. 209, 236, 252–253].

Антитерминологические суждения Бахтина, Григорьева и Михайлова, во многом односторонние и уязвимые, вместе с тем имеют серьезные и, так сказать, надэпохальные резоны: терминологизированию в составе литературоведческих текстов подобает знать свои границы. Каждый из двух обозначенных нами полярных друг другу родов понимания языка науки о литературе, мы полагаем, имеет свои неоспоримые права, у обоих наличествуют определенные гносеологические корни. На первоисточки расхождений в понимании языка литературоведения (как и других гуманитарных наук, а также философии) может пролить свет широко известная работа Э. Гуссерля “Философия как строгая наука”. Здесь разграничены и противопоставлены одна другой философия *миросозерцательная* и философия как *точная наука*. Первая являет собой “обращение личности к личности”, притягивает на глубокомыслие и мудрость, стремится давать “ответы на запросы жизни”; здесь на первый план выдвигаются “практические мотивы”. Строгая же философия, говорится далее, свободна от какой-либо субъективности, она безлика, ее положения (подобно постулатам математики) обладают абсолютной, непререкаемой достоверностью. Именно этой

философии Гуссерль отдает предпочтение перед “миросозерцательными” опытами: последние – это лишь преддверье философии строгой [10, с. 725–733]. То, что Гуссерль сказал о философии, на наш взгляд, применимо и к сфере гуманитарного знания: можно выделить *два его рода*. Причем, мы полагаем, их следует рассматривать как *равнозначные и взаимодополняющие*.

Тотальное терминологизирование гуманитарных текстов (терминологический максимализм) грозит им деперсонализацией. Термину подобает не быть назойливым, держаться в работах ученых скромно; он – не цель, а инструмент познания, а потому в различных случаях оказывается нужным в разной мере. Для гуманитарного знания, по-видимому, оптимально то, что можно назвать терминологическим минимализмом (речь идет, естественно, не о теоретических штудиях, а о конкретных исследованиях).

В гуманитарных науках (как и в философии) насущно и плодотворно дружественное сосуществование начал строгой терминологичности и речевой раскованности, той непринужденности говорения, которой исполнена наша обиходная речь. Опираясь на суждения А.А. Реформатского, скажем так: литературоведению (как и сродным ему научным дисциплинам) нужны и “моносемантические термины”, и полисемантические слова “общего лексического поля” [11, с. 51–52]. Но эта “двуплановость” гуманитарного языка ни в коей мере не исключает, а, напротив, властно предусматривает (это, можно сказать, императив научного знания) упорное и настойчивое сопротивление ученых всяческому понятийным “размытостям”, которые, мы полагаем, являются уделом имитаций научной работы: “околонаукой”, а то и “псевдонаукой”.

Разным областям литературоведения подобает различная мера терминологической активности. Она высока в работах, посвященных поэтике, а также закономерно повторяющимся феноменам художественной словесности, каковы традиционные, канонические жанры и надэпохальные компоненты словесно-художественной формы (мотив, иносказание, ритмика и т.п.). Но при сосредоточении ученых на содержательно-смысловой стороне *единичных* художественных текстов терминологическое начало естественным образом отступает (хотя философско-эстетические категории здесь глубоко значимы).

С трудом поддаются терминологизации (если вообще поддаются) слова, обозначающие разного рода общности литературной жизни, будь то неканонические жанры, каковы роман, повесть,

новелла, а также многие драматические произведения близких нам эпох, которые нередко называют пьесами. Или же стадии литературного развития, именуемые течениями или направлениями (барокко, романтизм, реализм, модернизм и т.п.). О каждом из подобных феноменов истории искусства можно с достаточной достоверностью сказать лишь одно: такое-то из них возникло, упрочилось, вышло на авансцену художественной жизни тогда-то. Прав был Г.Г. Нейгауз, утверждавший, что слово “романтизм” – это лишь вывеска для обозначения определений эпохи [12, с. 117].

При этом терминология в составе научных текстов является (или призвана быть) более активной при изучении словесного искусства далеких времен, отмеченных стабильностью, повторяемостью смыслов и форм, традиционализмом в области жанро- и стилеобразования. Изучение же феноменов *индивидуального* творчества, обладавших в последние столетия, с терминами не очень-то ладит. Далеко не случайно структурализм с его тяготением к понятийно-терминологической строгости обращался главным образом к далеким эпохам. К тому же степень терминологизированности научных текстов и ее характер во многом зависят от индивидуальности ученого, от его познавательно-творческих установок.

Но все же: решительное отвержение терминов в бахтинском духе для литературоведа неблагоприятно. Для него *всегда* важны смысловая и (соответственно) языковая определенность говорящего, логическая отчетливость высказываний, возможная лишь в тех случаях, когда опорным словам научного текста даются *определения* (дефиниции). Согласимся с Э. Гуссерлем: “Ничто не может *быть*, не будучи так или иначе определено” [10, с. 259]. Существенным уточнением к этим словам являются суждения А. Вежбицкой: лишь самые элементарные смыслы, каковых очень немного (нечто, я, мир, это, хотеть, сказать и т.п.), “не могут быть определены”. Все же остальные лексико-смысловые единицы, более сложные, нуждаются в определениях [13, с. 230, 235, 237].

Эти соображения, естественно, являются аксиоматичными при составлении толковых словарей и энциклопедических изданий. Но они, к сожалению, часто не принимаются во внимание в научных докладах, статьях, монографиях, где невнимание к определениям (дефинициям) оборачивается расплывчатостями, туманностями, невнятицей: строгая (а какой же ей быть в науке?) мысль зачастую тонет в бесконечно разнообраз-

ных вариантах словоупотребления (национальных, эпохальных, направленческо-мировоззренческих, индивидуальных).

Литературоведение, как видно, сталкивается с “языковыми опасностями” двоякого рода. Установка на “тотальную терминологизацию” в состоянии сдвинуть науку назад – в сторону средневековой схоластики и, что не менее важно, привести к игнорированию всего неповторимо-индивидуального в художественной литературе. Серьезная опасность подстерегает и тех ученых, которые ратуют за “размытые понятия” и/или за иносказательность (метафоричность) филологической речи, за ее игровую свободу. “Наука – враг метафор...” Это французское речение, мы полагаем, небезосновательно. Согласимся с американским философом: метафора, будучи выражением артистизма, не несет особого, специфического содержания и “всегда зависит от обыкновенного или буквального значения слов”; в ней нет ничего, что было бы “невозможно для обычных высказываний” [14, с. 173, 175, 189]².

Позитивным противовесом как терминологизирующей, так и антитерминологической безудержности является (точнее: могла ею бы стать) опора литературоведов на то, что именуют *техническими терминами* или *рабочими определениями*. Подобные семантические единицы правомерно назвать *ситуативными терминами*, обладающими достаточной смысловой определенностью, но лишь в данном контексте. На общезначимость и общеобязательность они не притязают. Рабочие определения могут иметь (и порой имеют) примерно такую форму: “В данном случае мы используем такое-то слово (скажем, миф, или повесть, или картина мира, или дискурс, или текст, или личность, или символизм) в таком-то его значении, основываясь на такой-то традиции словоупотребления, по таким-то соображениям”.

Важно, говоря иначе, упорно, а вместе с тем и осторожно (чтобы не углублять рознь между литературоведческими сообществами) сдвигать так называемые “размытые понятия” и метафорические обороты речи в сторону терминологической однозначности. Таким представляется нам один из императивов деятельности филолога, если он заявляет себя как ученый, а не выступает в роли вольного эссеиста.

Опора на рабочие определения избавляет (точнее – способна избавить) литературоведов как от

² О различном понимании роли метафор в процессах познания мира см. [15].

смысловой невнятицы, так и от терминологической монотонности, которой нередко сопутствует профессиональная заумь. Но эти возможности реализуются учеными (в том числе и современными) далеко не в полной мере, о чем и пойдет речь далее.

* * *

Язык любой науки эволюционирует. По мере освоения новых пластов ее предмета он вбирает в себя понятия и термины, ранее не существовавшие. Так, в составе литературоведения XX века выдвигаются на первый план такие лексические единицы, как остранение, структура, знак и знаковая система, монтаж, имманентность и многие другие. Но при этом обновление терминологии (а оно весьма интенсивно, особенно в последние десятилетия) оказывается чревато издержками, а то и вовсе негативными явлениями.

Интересные и важные соображения о неблагоприятных в области научного языка высказала Л.О. Чернейко: ныне в трудах ученых широко распространены “семантические дубли”, являющиеся данью “лексической избыточности”, вследствие которой термины затуманиваются и расплываются [16, с. 41–43]. Терминологическая синонимия в науках “точных”, к которым в основном его пласте принадлежит и языкознание, и в самом деле крайне нежелательна. Сложнее обстоит дело в сфере собственно гуманитарного знания с его весьма относительной терминологизированностью. Здесь “семантические дубли” неустранимы, а порой даже желательны, ибо разнообразят речь, освобождают ее от монотона, позволяют уяснить смысловые оттенки рассматриваемого предмета. С другой же стороны, обилие семантических дублей в литературоведении и близких ему науках затрудняет восприятие текстов, а то и нивелирует их смысловую определенность. Так, всеобщая двуплановость художественных произведений обозначается либо словами “как” и “что” (у Аристотеля), либо “форма и содержание” (в гегелевской традиции), либо (в русле семиотики) “означающее и означаемое” или “структура и идея” (то и другое – у Ю.М. Лотмана), “репрезентация и семантика” (встречается в работах последнего времени). Темп расширения этого ряда семантических дублей на протяжении последних десятилетий, как видно, стал весьма стремительным: *allegro*, если не *presto*. Вряд ли есть основание этому радоваться.

Оброс семантическими дублями и эмоционально-оценивающий “пласт” созданий искусства с его модификациями. Он фиксируется словосочетаниями “пафос и его виды”, “эстетические

категории”, “ценностные ориентации”, “модусы художественности”.

Ныне семантические дубли интенсивно множатся из-за бурного внедрения в русское литературоведение инонациональной лексики, что порой выглядит абсурдным. Так, взамен привычному для нас “обнажению приема” возникает его (приема) “нудация”. Это, конечно, случай крайний, но подобных ему, к сожалению, встречается немало.

Обильный ныне поток иностранных слов, вливающийся в литературоведение (в частности – отечественное), ценностно амбивалентен. В ряде случаев терминологические заимствования имеют позитивную значимость уж хотя бы по одному тому, что облегчают контакты между учеными разных стран.

Вместе с тем опора на иноязычную лексику, терминологическую и околотерминологическую, чревата серьезными смыслоутратами. Так, введенный В.Б. Шкловским в научный обиход термин “остранение” стал переводиться на немецкий язык как “отчуждение” (*Verfremdung*), что исказило его значение. Ведь остранение по Шкловскому – это не тотальное отвержение реальности, но “удивление миру”, его обостренное восприятие [17, с. 230–231].

Искаженное представление об остранении по Шкловскому дало о себе знать в известной монографии О.А. Ханзен-Лёве о русском формализме, где, в частности, фигурируют словосочетания “*verfremdete Ironie*” и “*ironische Verfremdung*” (так назван один из разделов книги) [18]. Остранение характеризуется немецким филологом как “отчужденная позиция автора” [19]. У Шкловского же, автора статьи “Искусство как прием”, остранение не столько отчуждает автора и его читателей от обозначаемого предмета, сколько приближает к ним этот предмет, делает его как бы увиденным впервые. (Заметим, что остранение было Шкловским осознано как отчуждение лишь в статье о Л. Толстом 1928 года.)

Иначе, чем Ханзен-Лёве, с безусловной точностью перевел на английский язык русское остранение В. Эрлих: “*making it strange*”, т.е. делание предмета странным [20]. Неужели в немецком языке нельзя было найти словосочетание, которое сохранило бы в себе представление Шкловского о привлекательной “странности” предмета, освоенного и претворенного искусством?

С подобного же рода смыслоутратами связана, на наш взгляд, и непомерно широко бытующая ныне лексическая единица *нарратив* (нарратация,

нарративность), которая на русской почве объединяет (думается, что не на пользу делу) два понятия традиционной поэтики: сюжет (событийный ряд) и повествование о нем. Эта терминологическая утрата, мы полагаем, нуждается в специальном рассмотрении, неспешном и непредвзятом.

Сходные проблемы связаны и со словом *интертекстуальность*, которым ныне, можно сказать, переполнены весьма многие литературоведческие штудии. Важно прежде всего помнить, что смысл этого термина (скорее, полутермина) восходит не к известному речению Юлии Кристевой, а к формуле Б.В. Томашевского “межтекстовые связи” (схождения), систематизация которых была им предложена [21, с. 210–213]. Главное же: состоятельно ли широко бытующее поныне “ранне-структуралистское” отвержение интересубъективности (т.е. с м ы с л о в ы х связей между текстами) в пользу интертекстуальности, мыслимой как явление собственно языковое (главным образом, лексико-фразеологическое)?

Из сказанного, мы полагаем, следует, что введение в научный обиход новых лексико-семантических единиц оправдано и насущно лишь в тех случаях, когда оно в чем-то дополняет и обогащает наличествующую терминологию, а не являет собой простое переименование того или иного явления. Обогащение понятийно-терминологического аппарата не должно подменяться “мельтешением” вновь вводимых слов, которые синонимичны уже существующим. Литературоведению нужны не потоки семантических дублей (им не видно конца), а осторожное и неспешное обновление терминологии с неизменной опорой на лексические единицы, укорененные в научной традиции той или иной страны.

Наряду с обильными семантическими дублями, науке о литературе (это происходило в России на протяжении всего истекшего столетия) мешает развиваться нормально феномен, который правомерно назвать *словом-фаворитом*. Едва ли не каждая из пережитых нами “микроэпох” (да и ныне – так!) была отмечена непомерным акцентированием и бесконечными, назойливыми повторами одних и тех же и при том немногих лексико-семантических единиц в ущерб всем иным.

Так, в 1930–1950-е годы в почете были “идейность” и “социальность”. Автор этих строк помнит последние годы сталинского времени, когда вызывали подозрение сами слова “форма” и “формальный” (они будили ассоциации с враждебным официальной идеологии формализмом). Суждения о “культуре” тоже вызывали опасение: нет ли при оперировании этим словом недооцен-

ки или игнорирования “социальной сущности” искусства? Решительно всему в литературе той поры полагалось быть идейно-содержательным и социально-классовым, рассмотрению же художественной формы предпочитали разговоры о мастерстве писателей.

Позже слово *культура* обрело позитивные коннотации и со временем стало весьма частотным. Научные и популярные тексты 1960–1970-х годов запестрели такими нововведениями М.М. Бахтина, как *диалогичность*, *полифония*, *карнавальность* и (благодаря Ю.М. Лотману и тому же Бахтину) – *текст*. Ныне заполнили все и вся *интертекстуальность*, *деконструкция* и (в наибольшей степени) *дискурс*. Едва ли не каждое из этих слов, вторгшихся в литературоведение, спору нет, науке нужно. Их введение в обиход во многом обогатило гуманитарную сферу. А в то же время, становясь “фаворитами”, они, эти слова, фатальным образом обретали неограниченно широкий диапазон значений, утрачивали смысловую отчетливость, из-за чего литературоведение, конечно, не выигрывало. Об этом в статье 1981 года убедительно высказался Ю.М. Лотман: «Понятие “текст” употребляется неоднозначно. Можно было бы составить набор порой весьма различающихся значений, которые вкладываются различными авторами в это слово. Характерно, однако, другое: в настоящее время это, бесспорно, один из самых употребляемых терминов в науках гуманитарного цикла. Развитие науки в разные моменты выбрасывает на поверхность такие слова; лавинообразный рост их частотности в научных текстах сопровождается *утратой необходимой однозначности* (курсив мой. – В.Х.). Они не столько терминологически точно обозначают научные понятия, сколько сигнализируют об актуальности проблемы» [22, с. 148].

С того момента, когда это было сказано, прошло тридцать лет. В наше время опасность оперирования словом *текст*, на которую указал Лотман, стала, на наш взгляд, во много крат большей. Текстами именуют не только определенного рода единицы речи (высказывания), но и многое другое: и совокупность созданного писателем, и жизнь того или иного деятеля культуры в единстве его ценностной установки, и национальную словесность как таковую, и ее масштабные социально-культурные феномены (петербургский текст или – так названа одна из недавних статей – “Семисотлетие Москвы как историко-культурный текст”), и плод индивидуального житнетворчества (такой-то писатель “как собственный текст”), и др. К тому же слово *текст* ныне обросло многочисленными морфологическими “дополнениями”. Это (наряду

с привычными “подтекст” и “контекст”) претекст, затекст, интекст, гипертекст. Вместе с тем “расширительное” использование слова *текст*, ныне бытующее весьма широко, для науки в какой-то мере плодотворно, ибо (вслед герменевтическим штудиям) актуализирует представление о многозначности художественных высказываний. Об этом писал Р. Барт в программной статье 1971 года “От произведения к Тексту” [23, с. 417]³.

Не будет, по-видимому, ошибкой сказать: слово “текст” не выдерживает тех нагрузок, которые на него возложены учеными и их сообществами. Оно, подобно многим другим ключевым словам культуры, пришло в филологию из обиходного языка (лат. *textus* – ткань, сплетение, соединение) и (в значительной мере) утвердило себя здесь в качестве термина. Но, к сожалению, в последнее время (согласимся с Ю.М. Лотманом) слово *текст* все дальше уходит не только от терминологической однозначности, но и от какой-либо смысловой определенности: становится в ряде случаев избыточным, а говоря попросту – лишним.

Подобная же участь ныне постигла другое, еще более “частотное” в литературоведении, культурологии, философии наших дней слово. Это *дискурс* (от франц. *discours* – речь) – термин, введенный в лингвистический обиход Э. Бенвенистом и со временем упрочившийся в ряде гуманитарных дисциплин. Значение его определяется по-разному: “лингвистическая общность, данная после языка, но до высказывания” (Цв. Тодоров) [25, с. 367–368]; “связный текст в совокупности с экстралингвистическими... факторами”, “взятый в событийном аспекте” (Н.Д. Арутюнова) [26, с. 507]. Нетрудно было бы привести и ряд других дефиниций, одна от другой отличающихся, но обладающих неоспоримым достоинством смысловой определенности.

Вместе с тем значение слова *дискурс* часто оказывается не по меру широким. Тем самым разрываюся связи с терминологией как таковой. Об этом, имея в виду работы М. Фуко и ряда других авторов, говорил С.И. Гиндин в своем недавнем лекционном курсе: дискурс ныне понимается одновременно и как речь вообще; и как процесс

ведения речи; и как диалогическое произведение и как речевое событие; и как множество текстов [27, Лекции 2–3]⁴.

О многозначности слова *дискурс* свидетельствуют многие современные работы. С одной стороны, дискурсом, редуцируя его привычное значение, называют единичный речевой акт (высказывание). С другой же стороны – тем же самым словом обозначают некую безгранично широкую данность, выходящую за рамки речевой деятельности: любое коммуникативное событие, будь то “элементарное взаимодействие пассажиров в троллейбусе” либо “сложные общественные катаклизмы”, которые выходят далеко за рамки собственно речевой деятельности. При этом утверждается, что дискурс – это “практически любое явление жизни общества” [29, с. 217].

Авторы вступительной и заключительной статей в специально посвященной дискурсу монографии справедливо утверждают, что это слово “столь же популярно, сколько неопределенно”, но придают ему статус некой мифологемы и своего рода ключа к пониманию человеческой реальности в целом: “Дискурсы управляют нашей жизнью”; “*вы таковы, каков ваш дискурс*” (эта фраза дана курсивом). При этом (полагаю, что вразрез с приведенными формулировками) говорится, что дискурс (наряду с экономикой и политикой) составляет одну из “трех сфер общественной жизни”. Логика здесь явно страдает: экономика и политика остаются за пределами дискурсивного начала и, стало быть, не в состоянии “управлять нашей жизнью”.

В монографии предлагается длинный перечень дискурсов: “гражданственности”, “политического постмодерна” (здесь вдруг оказывается, что дискурс с областью политики все-таки связан); “манипуляций”, “семьи”, “справедливости”, “прав человека”, “институциональный”, “идентичности”, “медиадискурс”, “бизнес-дискурс”, “арт-дискурс”; дискурсы “субкультур”, “среды обитания”, “тела”, “сновидения” и т.д. “Дисциплина, искусство и культура дискурса”, полагают создатели монографии, способны обеспечивать “развитие креативного мышления”, дают людям “технологии успеха, содействуют установлению доверия, согласия, солидарности” [30, с. 3–4, 202–204].

Вырисовывается весьма любопытная картина: дискурсом нынешние гуманитарии (их весьма много), во-первых, именуют *решительно все*, что входит в бесконечно разнообразную жизнь людей

³ Об укорененности в современной филологии концепции “Текста без берегов”, об ее минусах (многие суждения “взаимоисключающи, путаны и противоречивы”) и плюсах (выражение способности и “умения мыслить широко, амбивалентно”) говорится в только что появившейся статье О.А. Клинка, где понятие безбрежного текста соотносится с картиной мира, “основанной на эйнштейновской теории относительности” [24, с. 20–21, 18]. Здесь, мы полагаем, поставлены серьезнейшие проблемы, которые нуждаются в дальнейшем обсуждении.

⁴ Автор благодарит С.И. Гиндина за предоставленную возможность воспользоваться тем, что говорилось в этом курсе, а также в одном из его докладов (см. [28, с. 69–70]).

и их сообществ; во-вторых, придают ему безграничную жизне- и миротворческую силу (чем не очередная утопия?).

Дискурс в современном словоупотреблении, как видно, получил семантический статус беспрецедентно широкий. Этот таинственно-мистический феномен или, можно сказать, миф границ не имеет. Он не может стать компонентом какой-либо логической оппозиции: того, что было бы естественным назвать *недискурсом* (и ввести соответствующий термин), просто-напросто не может существовать. Данное слово (фаворит из фаворитов!) в большинстве случаев и к а к о й информации не несет: оно обозначает *все*, а потому совершенно *ничего* и становится лишь “модным словечком” (выражение С.С. Авринцева), речевым балластом, хламом, если не сказать словом-паразитом. Свидетельствам тому нет числа. Ограничусь двумя примерами. В начале энциклопедической статьи “Отчуждение” [31] говорится: “Для неклассического философского дискурса характерно...” (такое-то понимание отчуждения). Что потеряло бы это высказывание при опущении слова *дискурс* (“для неклассической философии...”) ? Еще факт. В недавней коллективной монографии под названием “Персональность” [32] есть статья под названием “Дискурс персональности в русской и советской культуре”. Неужели эта фраза стала бы менее информативной при устранении ее первого слова либо его замене привычными “теория” или “концепция” ?

Непомерной частотности употребления литературоведами определенного комплекса лексических единиц, которые мы называли словами-фаворитами, как видно, сопутствует утрата ими смысловой определенности. Притязание на статус терминов эти слова фатально обесмысливаются и, как заметил С.Л. Козлов, говоря о лексике апологетов Бахтина (“бахтинистов”), легко оказываются лишь “погремушками” (карнавальность, полифония и т.п.) [33, с. 162].

Обсуждая болезни языка науки о литературе, мы вовсе не намерены отрицать положительную значимость введения новых терминов. Но великое множество нынешних опытов терминологизирования и терминотворчества удручает: чем больше насыщаются филологические тексты новыми словами, тем менее определенными становятся их смыслы, а потому – общение между учеными не только не облегчается, но становится еще более затрудненным. В причинах подобных странностей, для науки нежелательных, надо разбираться неспешно и непредвзято. Ограничимся

предположением на этот счет: не является ли лишенная каких-либо рамок полисемия в научных трудах (взамен ее сужению и нивелированию) симптомом недостаточного профессионализма многих современных филологов (даже обладающих широкой эрудицией)?

С трудностями и неблагоприятиями в области *лексики* и *семантики* языка науки тесными узами связаны болезненные явления в сфере ее *стилистики*, к которой мы и обратимся.

* * *

Простота и ясность, общедоступность высказываний для науки весьма и весьма желательны. По словам всемирно известного физика, нужно “устанавливать границы” применяемых слов, давая им определения, а для этого “необходимо перейти к обычному языку и тем самым к классической логике” [2, с. 105, 114]. А вот слова авторитетного русского биолога: “Наука – общее дело по преимуществу. Найти язык общедоступный, открытый, по возможности общепринятый” [34, с. 203]. Лингвист Анна Вежбицка, авторитетный исследователь семантики и прагматики, утверждала: «Если имеются более простые слова, то более “ученые” слова должны быть отброшены» [13, с. 237]. В том же русле суждение А.В. Михайлова: язык науки о литературе (в его оптимальных вариантах) – это “*простое, безыскусственное говорение*” [9, с. 264]. Вспомним и реплику Г.Г. Нейгауза: “Нельзя говорить о музыке слишком уж нехудожественным языком” [35, с. 255]. Об императиве ясности и четкости речи ученых настойчиво говорил М.Л. Гаспаров. “Умоляю, не бойся упрощать, – писал он Н.С. Автономовой, изучавшей постмодернистские труды. – Усложнениями и темными обиняками... пусть занимаются молодые. Или имитирующие молодость шарлатаны. Мы с тобой уже в том возрасте, когда нам нужна простота...”. Еще решительнее и резче об этом – в более позднем письме ей же: “Писать просто тебе труднее всего... у тебя эта привычка к сложности... только реликт того времени, когда ты начинала быть философом” (имеются в виду 60–70-е годы, пора увлечения структурализмом). А вот что писала о Гаспарове после его смерти Автономова: его “установка на внятно сказанное слово, которая может показаться архаической, становится для нас сейчас как никогда более актуальной” [36, с. 323, 383, 279].

Не сомневаясь в справедливости и своевременности приведенных высказываний авторитетных ученых, вместе с тем заметим: наука нередко нуждается (наряду с простым обиходным словом) и в специфической для данной дисциплины

лексике, в речевых единицах, которые, по словам М.М. Бахтина, являются звеньями “социальных, профессиональных диалектов”, подобных жаргонам [37, с. 392]. Добавим к этому: профессиональным диалектам не подобает быть навязчивыми и обильными, становиться направленческими жаргонами; им следует мирно сосуществовать с лексикой обиходной и общепонятной, не оттесняя ее на второй план.

В настоящее же время профессиональные диалектизмы и сопутствующая им стихия словотворчества, притязающего на обновление науки и философии, распространились весьма широко. Яркий пример тому – одна из недавних работ своеобразного и талантливого мыслителя М.Н. Эпштейна, где утверждается, что человеческую мысль следует освободить из “плена повседневного языка и предрассудков здравого смысла”. «Мыслить – это значит заново создавать язык, “поперечный” житейскому языку, критически очищенный от захватанных значений». Простор мыслимого и говоримого, утверждает автор, раздвигается и оказывается непричастным законам логики. Это простор игровой. Новые слова, считает Эпштейн, призваны “вести собственную языковую игру”: “Слову не дано быть точным, ему остается быть дерзким”. В соответствии с этим “впервые предлагаются” такие “понятия и термины” (!), как “всеразличие”, “концептивизм”, “культурал”, “культуроника”, “мыслезнание”, “потенциация” и т.п. [38, с. 5–9].

“Эпштейновский случай” апологии бурного словотворчества, притязающего на терминологичность, беспрецедентен и, по-видимому, единственен. Но он, этот случай, свидетельствует о весьма существенной тенденции языка современной философии и науки, в частности, и литературоведения. Сознательными или невольными противниками простого, ясного слова и стоящего за ним здравого смысла ныне являются весьма многие гуманитарии, в том числе философы. Их язык можно сопоставить с эсперанто либо просто-напросто назвать жаргоном. Этому веянию нередко отдают дань и крупные ученые. Порой доводится читать такое: “Инкорпорирование в текст продуцента материала”; “дескриптивные констатации объективной данности”; “исходная для создания парадигмальных матриц онтологизация предмета в когнитивном универсуме”; следует рассмотреть “такие документы интерпретируемой исторической рецепции, как опыты интермедиального транспонирования текста”; “демистификация апорийного дискурса”; “редуцирование ментального усилия к репрезентативному... во многом выхолостившее его самостийную креативность”.

Приводятся, заметим, цитаты из работ разных и при том авторитетных литературоведов, наших соотечественников.

В одной из своих ранних статей Г.Н. Пospelов сказал о своем стремлении “внести в науку о литературе хотя бы немножко больше ясности” [39, с. 245]. Вряд ли такого рода благородным намерениям отвечает та нынешняя литературоведческая стилистика, о которой мы ведем речь. О вторжении в нашу науку лавины необщепотребительных слов весьма жестко высказался в 1981 году М.А. Сапаров: возобладавшая в науке “супертерминологическая кабалистика” – явление болезненное; она служит тому, чтобы “постоянно возобновлять в посвященных чувство собственной избранности” [40, с. 235]. Да. Перед нами – то самое, что, шутливо говоря о самих себе, участники тартуско-московской школы, *вынужденные* высказываться уклончиво и невнятно, именовали “птичьим языком”. Здесь – футуристического толка заумь, перешедшая в науку, своего рода терминологическая (может быть, точнее – псевдотерминологическая) эпидемия, при которой литературоведение рвет свои связи как с писателями, так и читающей публикой. Эта эпидемия оказалась весьма длительной. “Тебе, – писал Гаспаров Автономовой в 1993 году, – приходится приспосабливаться к птичьему языку научного окружения” [36, с. 314].

Подобного рода “языковые веяния” наличествуют и в зарубежном литературоведении. Вот несколько терминов, фигурирующих в предметном указателе монографии одного из ярких представителей французского структурализма Ж. Женетта (указываем лишь небольшую часть слов, начинающихся буквой “А”): “автодиететическое”, “анахрония”, “анизохрония”, “аналепсис” (в четырех его разновидностях). Знаменательный факт: сам автор (вероятнее всего, с некоторой иронией) именует плоды своего терминотворчества, “кухонным продуктом”. “Терминологическая кухня, – пишет он, – завтра предстанет как самая топорная работа и погрязнет в куче другой одноразовой тары на свалках Поэтики” [41, с. 269]. Картина стремительно сменяющих одна другую лексических кухонь-однодневок выглядит довольно мрачной. Хочется надеяться, что путь литературоведения в XXI веке окажется иным.

Встает вопрос: а каковы корни, истоки, причины увлечения учеными терминологическими и околотерминологическими кухнями? Вряд ли ныне, когда данное явление научной (псевдонаучной?) мысли себя еще не исчерпало, возможен сколько-нибудь ясный ответ на него. Здесь, по-ви-

димому, имеет место и стремление ряда ученых к элитарной замкнутости, о чем писал Сапаров, и кризисность современного гуманитарного знания, связанная с ослаблением личностного момента в его составе. Вероятно, и многое другое. Остановимся лишь на одном: в нашей стране становление и упрочение непомерно усложненной научной стилистики, имевшее место в тартуско-московской летней школе (вторая половина 60-х–начало 70-х годов), было связано с крайне неблагоприятной для научной деятельности атмосферой. Как отметил Б.Ф. Егоров, усложненность, невнятность, “затуманенность” речи, отмеченной эвфемизмами, у тартусцев была обусловлена стремлением укрыться от чужого, враждебного взгляда: «Полтора века назад М.Е. Салтыков-Щедрин острил: “Как бы это потемнее выразиться?” Здесь именно тот случай» [42, с. 119]. К сожалению, потребность “потемнее выразиться” сохранилась (сила инерции, вероятно!) и в более поздние времена, когда оправдания для нее уже не стало. В одном из своих выступлений Ю.М. Лотман заметил, что наука в нашей стране в XX веке подверглась испытаниям двойного рода: прямыми гонениями и (позже) соблазнам моды. И это совершенно справедливо.

Но как ни велики утраты, нанесенные литературоведению (как одним, так и другим!) нет оснований говорить о его т о т а л ь н о й кризисности. Неблагополучия в сфере языка науки о литературе – это своего рода болезненный нарост на ее здоровом теле. Они весьма серьезны, но отнюдь не всеохватывающи. Неоспоримое свидетельство тому – *внеаправленческое литературоведение* в России советского и постсоветского периодов, поныне остающееся неуясненным в качестве крупномасштабного культурно-исторического феномена. Было бы нетрудно назвать множество ученых первого ряда, семантика и стилистика работ которых свободна от стереотипов их “малого времени”, от официально насаждаемых или просто модных околонучных жаргонов и поистине личностна. Неповторимо-индивидуальные научные стили этих филологов достойны самого пристального внимания историков отечественного литературоведения.

Таковыми видятся нам кризисные моменты в области языка современного литературоведения и возможности плодотворного противостояния им.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Пирс Ч.* Начала прагматизма. СПб., 2000.
2. *Гейзенберг В.* Физика и философия. Часть и целое. М., 1989.

3. *Поспелов Г.Н.* Проблемы исторического развития литературы. М., 1972.
4. *Бахтин М.М.* Собрание сочинений. Т. 5. М., 1996.
5. *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодернизма. СПб., 1998.
6. *Гирин Ю.Н.* Термин и метафора в науке о литературе // Российский литературоведческий журнал. 1996. № 7.
7. *Бочаров С.Г.* Об одном разговоре и вокруг него // *Бочаров С.Г.* Сюжеты русской литературы. М., 1999.
8. *Григорьев В.П.* Терминология // Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 7. М., 1972.
9. См.: *Михайлов А.В.* Стенограмма доклада “Несколько тезисов о теории литературы” // Литературоведение как проблема. М., 2001.
10. *Гуссерль Э.* Логические исследования. Картезианские размышления. Минск; М., 2000.
11. *Реформатский А.А.* Что такое термин и терминология // Вопросы терминологии (Материалы Всесоюзного терминологического совещания). М., 1961.
12. *Нейгауз Г.Г.* Размышления, воспоминания, дневники. М., 1975.
13. *Вежбицка А.* Из книги “Семантические примитивы”. Введение // Семиотика. М., 1983.
14. *Дэвидсон Д.* Что означает метафора // Теория метафоры. 1990.
15. *Штырков С.А.* Аспекты концептуальной метафоры // Канун. Альманах. Вып. 4. Антропология религиозности. СПб., 1998.
16. *Чернейко Л.О.* Металингвистика: Хаос и порядок // Вестник МГУ. Филология. 2001. № 5.
17. *Шкловский В.Б.* Тетива. М., 1970.
18. *Hansen-Löve O.A.* Der russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. Wien, 1978.
19. *Ханзен-Лёве О.А.* Русский формализм: методология реконструкции развития на основе принципа “остранения”. М., 2001.
20. *Erlich V.* The Russian Formalism. History – Doctrine. Gravenhage, 1955.
21. *Томашевский Б.В.* Пушкин – читатель французских поэтов // Пушкинский сборник памяти С.А. Венгера. М.; Пг., 1923.
22. *Лотман Ю.М.* Собр. соч. В 3 т. Т. I. Таллинн, 1992.
23. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
24. *Клинг О.А.* Текст в современном литературоведении: с “берегами” и “без берегов” // Научные

- доклады филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Выпуск 6. М., 2010.
25. *Тодоров Цв.* Понятие литературы // Семиотика. М., 1983.
 26. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
 27. *Гиндин С.И.* Лингвистика текста и дискурса. Раздаточные материалы лекционного курса. РГГУ, 2009–2010 учебный год.
 28. *Гиндин С.И.* Текст и дискурс: Причины параллельного возникновения, условия внедрения и научные последствия двух исследовательских парадигм // Современная семиотика в приложении к гуманитарным наукам. Международная научная конференция. Тезисы. М., 2007.
 29. *Макаров Д., Кузнецов А.* Дискурсология: проблемы и вызовы сегодняшнего дня // Свободная мысль. 2007. № 6.
 30. Современные теории дискурса. Екатеринбург, 2006.
 31. Культурология. Энциклопедия. В 2 т. Т. 2. М., 2007.
 32. Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М., 2007.
 33. *Козлов С.Л.* Свой среди чужих [памяти Г.К. Косикова] // Новое литературное обозрение. № 104. 2010.
 34. *Ухтомский А.А.* Заслуженный собеседник. Этика. Религия. Наука. Рыбинск, 1997.
 35. *Нейгауз Г.Г.* Об искусстве фортепианной игры. М., 1967.
 36. *Ваш М.Г.* Из писем Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2008.
 37. *Бахтин М.М.* Собрание сочинений Т. 6. М., 2002.
 38. *Эпштейн М.Н.* Предисловие // Проективный философский словарь. Новые термины и понятия / Ред. Г.Л. Тульчинский и М.Н. Эпштейн. СПб., 2003.
 39. *Поспелов Г.Н.* К проблеме формы и содержания // Красная новь. 1925. № 5.
 40. *Сапаров М.А.* Понимание художественного произведения и терминология литературоведения // Взаимодействие наук при изучении литературы. Л., 1981.
 41. *Женетт Ж.* Фигуры. В 2 т. Т. 2. М., 1998.
 42. *Егоров Б.Ф.* Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. М., 1999.